

ГИНИЯТУЛЛИН Талха Юмабаевич (Анатолий ГЕНАТУЛИН) родился в деревне Уразово Учалинского района 20 апреля 1925 года. Окончил Уразовскую неполную среднюю школу в 1941 г. Учился в школе ФЗО в г. Белорецке, работал на заводе воловичильщиком.

Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Карельском перешейке, во взятии Кенигсберга в составе 2-го Белорусского фронта. Ранен, контужен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, медалью за взятие Кенигсберга.

После войны работал в Красной Поляне на строительстве Сочи-ГЭС проходчиком туннелей. В 1950 г. переехал в Москву и работал на заводе фрезеровщиком, учился в школе рабочей молодежи и получил аттестат зрелости. В 1961 году поступил в Литературный институт им. М. Горького. И начиная с этого года стал печататься в «толстых» журналах Москвы как «Дружба народов», «Знамя», «Наши современники», «Октябрь», «Новый мир», «Роман-газета» и в литературных еженедельниках. Начиная с 1969 года в центральных издательствах «Советский писатель», «Советская Россия», «Современник» стали выходить большими тиражами его книги и были хорошо встречены читающей публикой. Произведения стали переводиться на иностранные языки. В Германии на немецком языке вышел роман «Туннель» («Красная Поляна»), в США — на английском повесть «Непогодь», повести и рассказы печатались в Чехословакии, Болгарии, Китае и в Индии, Белоруссии, Узбекистане.

В литературу он вошел как автор рассказов, повестей и романов о войне. Как литератор, пишущий о войне, он стоит рядом с такими советскими и российскими писателями, как Василь Быков, Вячеслав Кондратьев, Богомолов, Константин Воробьев, Юрий Бондарев, Виктор Астафьев.

В издательстве «Китап» вышли книги рассказов и повестей на русском языке «Загон» (2004), «Красная поляна» (2008), «Одинокий дом в тумане» (2010), на башкирском — в переводе Амира Аминева «У родного порога» (1994), «Что там за холмом» (1997), «Ты стояла под березой» (2007).

Т.Ю.Гиниятуллин Заслуженный работник культуры РБ и России, лауреат премии Международного Литфонда, Всероссийской Литературной премии имени С.Т.Аксакова. В 2011 году ему присвоено звание народного писателя Башкортостана.



Амир АМИНЕВ

Три рассказа

Пастух

Серенький сентябрьский денёк убывал в ранних сумерках, когда я возвращался с реки домой. Пройдя проулок, я увидел у своих ворот незнакомого человека, который, кажется, кого-то поджидал. Я насторожился: я никого не ждал, никого не хотел видеть. Я приехал в деревню ненадолго, жена, больная, осталась в Москве и, если этот человек нежданный, но интересный для меня гость, как я без жены соберу застолье, разве что налью рюмочку без хорошей закуски. Я подошел и, угадав в незнакомце городского человека, обратился по-русски:

— Вы ко мне?

— Да, здравствуйте.

Он сунул мне руку, и я привычно отдал свою. Я не люблю эти рукопожатия. Иной человек, особенно молодой, до боли тискает мои хрупкие старческие пальцы, как будто этим жестом сопровождает свою тайную и мелкую мысль: «Постарел, скоро подохнет». Рука незнакомца была большая, заскорузлая — рабочая.

— Вы ведь Талгат, — осведомился он.

— Да, он самый.

— Мне сказали, что вы самый старший в деревне.

— Есть старше меня, но он уже не ходит.

— Быть может, вы помните моих родителей. Я расспрашивал, никто их не помнит. Меня как увезли в детдом, с тех пор я в деревне не появлялся. Когда умер отец, где похоронен — не знаю.

— Как его звали-то?

— Галимнур. Он был пастух. Пас деревенских овец.

— А-а, Акэ-пастух! — вспомнил я. — На нашем аймаке жил.

— Да, так его называли. А меня — Акэ-малай. Я его сын. Мы с вами играли. Может, помните?

— Припоминаю... Я ведь тоже в сорок первом уехал в ФЗО, а в деревню вернулся только в пятидесятлом, не помню, чтобы твой отец тогда был в деревне. Наверное, он умер в сорок третьем или сорок четвертом. В том году деревня особенно голодала, люди умирали. А вот где похоронен, сказать не могу. В годы войны покойников хоронили на ближнем к деревне краю кладбища. Там земля мягкая, копать легче.

Выслушав меня и помолчав, приезжий сказал:

— Вы не могли бы показать мне это место?

Ох, как не хотелось мне идти в этот пасмурный день на кладбище и топтать старые могилы. Но не мог отказать человеку в его добром намерении. Хотя ведь знал, вернее, уверенно предполагал, что на нашем кладбище нет могилы Акэ-пастуха.

Откуда появился этот странный человек в деревне, никто не знал. Точнее, не знали мы, подростки, а люди, жившие до нашего рождения, помнили его отца, который в двадцать первом голодном году от голода сошел с ума и, сказав жене и детям мал-мала меньше: «Детки мои, не голодайте, ешьте мое мясо», — полоснул себя по горлу ножом. Но кто станет есть мясо родного отца? Горе только ускорило голодную смерть женщины и её детей. Выжил только старший. Как выжил — никто не знает. И исчез из деревни. Поговаривали, что подался в казахскую степь и нанялся в пастухи к зажиточному казаху.

Это был маленький человек. Со спины казался подростком, но, обернувшись, показывал рано постаревшее лицо взрослого, почти старика с несколькими волосиками на небритом подбородке. Язык родной деревни он не забыл, но иногда в свою речь вставлял привезенные из степи непонятные слова. И почему-то ругался только по-казахски: «Акинг авзынг!» и мы, подростки, гораздые лепить прозвища даже своим школьным учителям, прозвали пастуха Акэ, хотя не знали, что означает это казахское слово. Быть может, вроде нашей деревенской, не очень злобной ругани «плюю тебе в рот».

Жил он в маленькой избушке, оконца которой на улицу были бровень с завалинкой. Еще до появления пастуха, в дошкольном детстве, я с опаской поднимался на завалинку и заглядывал в окно пустого дома — мне казалось, что в сумраке заброшенного людьми жилья затаенно обитает кто-то неведомый и жуткий. Я видел голые нары и развалины печи. Кто-то разобрал кирпичи и унес для своих нужд. Акэ, поселившись в заброшенной избушке, не стал класть новую печь, а из камня и глины соорудил древний сувал, о котором в деревне уже многие позабыли, а дымником служила дыра, оставшаяся в потолке от прежней печи. И пёк в золе лепешки.

А пастух он был всем пастухам пастух. У него не было ни пастушьего кнута, ни герлыги. Он не погонял на пастбище овец, а их было несколько сот голов, а, как полководец перед войском, шел впереди. Не оглядывался, не покрикивал. За ним шли вожаки — баран и козел. Быть может, они воспринимали это странное двуногое существо чуть выше козла за такое же, как и они сами, стадное животное и понимали его, повиновались ему.

За деревней, на склонах выгоревших от зноя холмов, где животные принимались грызть скудную растительность каменистой почвы, и стадо, и пастухсливались с бурьими склонами в знойной ряби полуденного марева. Но в полдень, когда солнце пекло с самой макушки неба, откуда-то из травы поднимался пастух и шел вниз к реке. И стадо шло за ним. И, напившись на перекате, замирало в сильно унавоженном загоне в жидкой тени засыхающих вётел. Пастух доил чью-нибудь козу с щедрым выменем и, подкрепившись зольными лепешками и козьим молоком, заваливался спать где-нибудь в тени. Только когда зной малость убывал, просыпался и вел стадо на склоны холмов.

Эта пастораль бывала только в ветреные дни середины лета, и то если не налетал ливень с грозой. Если бы еще не было в стаде этих проклятых коз, которые, отделившись от овец, то на скалы взбирались, то, когда начинался дождь, пускались в деревню. «Айда, ребята, домой, мы не глупые овцы, чтобы мокнуть под дождем!» А овцы мокли, сгрудившись в березовом колке. Пастух же, хорошо зная природу рогатых и бородатых тварей, не пытался воротить их, только ругался вслед: «Акинг авзынг!»

Насмешливые люди не только давали прозвища остальным, выделяющимся из толпы чем-нибудь — дурным нравом или телесным изъяном, но и придумывали о них смешные небылицы. Это подхватывали подростки. О пастухе говорили, что он такой тупой, что, когда ставил ветровые ворота, столбы закопал тонким концом в яму. Или еще: как-то зашел к нему сосед Сабрай — пастух чаевничает. «Садись, сосед, чай пить». Сабрай присел с краешка на нары, Акэ достал из золы горячую лепешку и по привычке сдул с неё золу прямо в рожу соседа. Потом Сабрай рассказывал: «Вот проклятый казах, пригласил меня к чаю и горячую печную золу прямо мне в лицо!»

Особенно будоражил деревенских трепачей вопрос: почему пастух не женится? «Да ведь он давно женат на козе из своего стада».

То ли услышав эти насмешки, то ли жить в одиночестве стало невмоготу, пастух задумался и решил жениться. Только на ком? Какой он соперник рослым деревенским парням и желтоголовым сыновьям приблудных татар? Да к тому же в двадцатые годы — как считалось, перед большой войной, — в избытке рождались мальчики, так что в тридцатые годы недостатка в женихах не было.

Подумал пастух и решил рубить дерево по топору: найти девку завалящую, с телесным изъяном, хромушку или кривую, на худой конец.

Овцы его паслись на склонах холмов неподалеку от земель соседнего колхоза. Там в межгорье пряталась маленькая деревня Сарыгол, где никогда пастух не бывал. Однажды он от нечего делать или, вернее, из любопытства подошел к деревне. Деревня поначалу казалась безлюдной, но тут он заметил женщину, которая стояла возле маленькой, как и у него, избушки. «Это Аллах показывает мне жену», — подумал он. Женщина собралась было уже войти в дом, но пастух ее окликнул. Женщина задержалась и уставилась на него с испугом.

— Эй! Ты не бойся, я пастух, овцы мои вон за тем холмом, — сказал пастух и, подойдя близко, увидел женщину ростом на пять голов выше себя, широкоскулую, густобровую. И, увидев на её широких костях и груди слишком много женского добра, подумал: «Не подходит, большая, как лошадь, да руки какие, бить будет». Все-таки решил поговорить. Спросил:

— Ты в этой избе живешь?

Хотя и так было видно, что это её избушка.

Женщина не ответила, продолжая всматриваться в пастуха овечьим тупым взглядом.

— Одна живешь? — спросил пастух. Женщина кивнула — одна.

«Одна — это хорошо», — подумал Акэ и выкинул главный судьбоносный вопрос:

— Замуж за меня пойдешь?

Женщина продолжала всматриваться в него тупым взглядом, но толстые губы ее изобразили нечто вроде сдерживаемой улыбки.

— Ты что, не умеешь разговаривать? — спросил пастух.

— Я умею ругаться, — вдруг мужским басом ответила женщина.

Пастух вздрогнул, подумал: «Дурочка» и решил — подходит. И сказал:

— Завтра приеду за тобой. Поедешь жить со мной в такой же маленькой избушке.

Не ответив ему, женщина отвернулась и скрылась в двери своей развалюхи.

Наутро пастух привел стадо на склоны гор и, зная, что в полдень вожаки козел и баран поведут их к реке, вернулся в деревню, запряг временно свободную от хомута клячу в роспуски соседа Сабрая и поехал за женой. Она встретила его, как и вчера, тупым молчанием, не спеша собрала свой нищенский скарб — одеяла, перину завязала в узел. Кое-какую посуду в старый сундучок, а самовар, единственную стоящую вещь, оставшуюся от родителей, бережно взяла в охапку. Подложив под себя узел с тряпьем, пристроив сундучок, пастух сел на передок, а женщина, свесив ноги, устроилась на задке. Лошадка везла лениво, не ускоряя шаги даже под уклон. Акэ то и дело крутил над головой концом вожжей и покрикивал:

— Но-о, пошла! Уснула, что ли?!

Лошадь дергалась и через несколько шагов снова засыпала.

С тех пор, как выехали из деревни, пастух ни разу не оглянулся. Но уже подъезжая к мосту, вдруг почувствовал, что лошадь везёт как-то легко, словно разгрузили роспуски. Оглянулся — бабы на задке нет. Где же она, вроде села, поехала? И тут степные глаза пастуха разглядели в двух километрах бредущую обратно фигуру женщины с самоваром в охапке. И догадался: когда лошадь дёрнула, женщина упала и осталась на дороге. Пастух выругался: «Акинг авзынг!»

— и повернул назад. Догнав ее, спросил:

— Ты чего это делаешь, а?

— Я упала.

— Упала... Зачем пошла обратно?

Она не ответила.

— Садись и больше не падай. Не туда, вот здесь сбоку, ближе ко мне.

Когда подъезжали к мосту, она вдруг спросила:

— Как тебя звать-то?

— Галимнур я. А тебя как?

— Сахиба я. В деревне прозвывают Большая Сахиба. — И, помолчав, вдруг выдала:

— Может, не надо, а?

— Чего не надо?

— Жениться на мне не надо.

— Это почему не надо?

— Люди смеяться будут.

— Пусть они над собой смеются.

Когда ехали по деревне, любопытствующие рожки прилипли к окнам, некоторые выходили за ворота — глядите-ка, Акэ везет жену!

Не привыкшая жить ни часа без работы, молодая жена с первых же дней принялась восстанавливать вконец рухнувшее хозяйство пастуха. Из остатков кирпича и камня — треснувшую плиту с кругами и трубу она нашла на задворках в свалке — она слепила очаг. Над избушкой заклубился дымок. И пылал семейный очаг, и в избе запахло горячим варевом. Перешив и укоротив ветхую одежонку отца, Сахиба худо-бедно приодела своего муженька.

А деревенские трепачи и хохмачи и даже в тихой, опрятной жизни Галимнура и Сахибы находили что-нибудь для насмешек. «Говорят, Акэ спит на своей бабе, как на перине». — «А как же, если он будет спать под боком, она запросто задавит его».

Теперь они пасли деревенских овец вдвоем. Акэ, как обычно, шагая впереди, вел стадо, жена с едой в холщовой сумке плелась следом. Но к полудню она шла к стойбищу, где задымил костер и готовилась еда.

Осенью и зимой они оба работали на ферме, она доярила. Языкастые бабы на ферме, особенно когда пропускали по рюмочке, допытывались у Сахибы:

— Как он там с тобой?..

— Старается, — лениво отвечала она.

Нас, испорченных подростков нашего аймака, хулиганов и воришек, тоже разбирало незддоровое любопытство. Однажды вечером мой дружок Бакый и я поднялись на завалинок и стали прислушиваться. Вдруг, как-то почувяв наше воровское присутствие за окном, выскочила Сахиба и, жутко матерясь мужским голосом, выкрикивая и по-нашему, и по-русски такие слова, которые стесняются произносить даже пьяные мужики, прогнала нас. Потом мужики спрашивали у пастуха:

— Где научилась твоя баба такой матерщине?

Акэ ответил:

— Она же и трактористом работала, и на лесозаготовку каждый год её посыпали.

Потом родился Акэ-малай. Правда, играть с ним я не играл. Когда он родился, я уже играл в бабки с ребятишками нашего аймака, а в свою «банду» малолеток мы не пускали.

Так и прожили бы свою простую жизнь эти очень простые люди, от которых не было вреда ни природе, ни человеку. Если бы...

Угораздило же пастуха поехать весной в Тирлян к русскому «знакомому» Мукасееву. Мукасеев нанимал пастуха на разные работы: дров привезти из лесу, распилить, расколоть и сложить поленницу и что-нибудь починить по хозяйству. Акэ выклянчивал у бригадира колхозную лошадку и, пообещав завтра же вернуться, исчезал на неделю. Ездил на роспусках соседа Сабрая, смастеренных для возки дров, но неудобных для дальних поездок. В этот раз взял с собой жену и сына. Акэ-малаю он хотел показать паровозик, свистящий и фыркающий возле листопрокатного завода. Когда ехали в Тирлян, лед на реке еще стоял крепко, хотя дорога уже вытаяла из-под снега.

У Мукасеева, как всегда, работы хватало. В бане каменька прогорела, а по части печей Сахиба была мастерица. Разобрала и сложила новую каменьку. Потом заменили подгнившие полы. Жили, сытые от русской еды тети Маруси и хмельные от самогона. Так пошла вторая неделя. Мукасеев сказал:

— Галимурка, тебе, чать, пора в путь, лед тронулся, скоро с гор придет большая вода. Или лучше повремени, пока река в межень вернется.

Пастух, проживший юные годы в казахской степи, не знал норова горных рек. Ему казалось, что эту речку, которую можно перепахнуть одним прыжком, лошадь перейдёт, не промочив даже брюхо. Но резко потеплело, и в горах, в горных лесах и распадках стали бурно таять снега.

Не вняв предупреждению «знакомому», пастух с семьёй подался домой.

Река взбухла, но еще не вышла из берегов. По прежним летним и осенним приездам он помнил: вода на броду была лошади только по колено. Сейчас, надо полагать, всего под брюхо. Глубже — тоже не беда. Лошади воды не боятся. На всякий случай, мальчика посадил верхом вместе с собой, а Сахиба, подобрав ноги, ехала на роспусках. Но случилось так, что телега в середине реки погрузилась в

воду, а Сахиба тоже по пояс оказалась в воде. Деревянная телега соседа Сабрая не была пригодна для переправы через реки. Вернее сказать, на шкворне не было чеки, телега всплыла и освободилась от передка. И поток понес её вместе с Сахибой в яму ниже брода. Она же, выросшая на мелкой речке, не умела плавать и боялась глубокой воды. Но не звала на помощь и, погружаясь в поток, только смотрела на мужа и сынишку, благополучно добравшихся до противоположного берега. И ушла вместе с телегой под воду. Пастух побегал по берегу, крича: «Сахиба, где ты там?!» — и, не найдя её ни в воде, ни на берегу и, не услышав ответного голоса, вернулся к лошади, сел и заплакал, приговаривая: «Ой, Сахибжан, женушка моя, не брал бы я тебя в Тирлян, если бы знал, что ты утонешь в этой реке!» И потом долго еще плакал, повторяя: «Ой, Сахибжан..!»

В сорок первом году я уехал в ФЗО и о дальнейшей жизни пастуха ничего не знал...

Умер он, вероятно, все-таки в сорок четвертом. Это был самый голодный год войны. Страна истощилась, земля, обрабатываемая впол силы бабами, подростками и стариками, тоже истощилась и оскудела, справных лошадей забрали в армию, тракторы ломались. Все на фронт, все для победы!

Нам на фронте съятную еду давали только перед боем и, если доживешь, в бою во время короткой передышки. Американская свиняя тушенка, которую мы прозвали «вторым фронтом», не утоляла наш голод.

А в деревнях колхозники, вернее, жены и дети воюющего или уже погибшего колхозника, если с осени забили и съели овечку, того хуже, корову, не заготовив по малосильности кормов, голод настигал уже в начале зимы, когда земля, годами кормившая человека, покрывалась ледяной коркой, на которой на тысячи вёрст во все стороны не было ни крошки съедобного. Саранку и какие-то коренья выкопали еще с осени, колоски на стерне сразу же после жатвы подобрали. Не пухли от голода только те, у кого имелся припрятанный впрок краденый запасик или те, у кого были волчьи ноги и звериная хватка.

Умерших хоронить было некому. У истощенных людей не было сил не то чтобы долбить мерзлую землю, но даже поднять лом. Умерших, когда еще было тепло, бросали в шурфы, оставленные старателями. Потом, когда всё вокруг сковало лютым морозом и замело, стали закапывать в навоз за фермой. Эти холмы перепревшего навоза потом заросли дурным сорняком, и этот перегной под непролазной крапивой, лебедой стал братской могилой героев тыла... Очень возможно, там же и кости маленького пастуха. Кто бы стал копать для него могилу?.. Конечно, сыну его, этому постаревшему Акэ-малаю, я не мог сказать об этом — пусть думает, что его отец покончился на кладбище.

Мы вошли в воротца кладбища, и я повел приезжего к ближнему к деревне краю родного некрополя. На могилах умерших в годы войны от голода и болезней не ставили оградки и памятники. В лучшем случае вкалывали в холмик дощечки, на которых кто-нибудь из родни химическим карандашом чиркал имя умершего. За многие годы эти доски сгнили и рассыпались в труху. Кое-где угадывались эти холмики, густо заросшие какой-то грубой осоковатой травой, некоторые могилы провалились, и мнилось, что из этих провалов тянет подземным холодом, плесенью и сладковатым духом тленя.

Потоптавшись на этой печальной траве и не найдя могилки пастуха, мы вышли из кладбища. Приезжий закурил и спросил:

— В какую сторону ближе к остановке автобуса?

Я показал, в какую, и сказал:

— Не уезжайте на ночь глядя, переночуйте у меня.

— Спасибо. Лучше поеду, — ответил он и, прощаясь, произнес: — Думал поставить на его могиле памятник, а тут... трава.

Лесник

Однажды в мой очередной летний приезд в деревню на улице ко мне подошел странный мальчик. Странность его была в том, что он, подойдя ко мне, взрослому человеку, всматривался в меня лучистыми глазами так, как будто пытался разглядеть в моей ничем не примечательной фигуре что-то необыкновенное, влекущее, но непонятное.

— Дяденька, вы поэт? — вдруг спросил он.

— Я не поэт. Я пишу прозу, — сухо ответил я, желая, чтобы мальчишка с неуместным вопросом убрался прочь, и понимая, что слово «проза» вряд ли известно ему. Но мальчик не понял мое нежелание поговорить с ним о поэтах и не убрался. И продолжал раздражать меня, по моему тогдашнему ощущению, дурацкими вопросами:

— Дяденька, что надо делать, чтобы стать поэтом?

— Ничего не надо делать, а просто надо писать стихи, если есть у тебя талант. И если ты даже талантлив, тебе целой жизни не хватит, чтобы стать поэтом. Ты что, пишешь стихи? — спросил я и тут же пожалел, опасаясь, как бы он не предложил почтить или послушать.

После Литературного института, закончив который, из моего курса ни один «гений» не стал заметным писателем, после моих московских неудач я стал относиться подозрительно к людям, пытающимся выбрать литературу жизненным поприщем для самоутверждения или, того хуже, ради славы и денег.

— Да. Целую тетрадь написал. Учительница Зоя Валиевна говорит, что у меня талант.

— Твоя учительница не сказала тебе, что надо много учиться, много читать и научиться мыслить? Если даже не станешь поэтом, будешь образованным человеком и интересно будет жить. Если хочется писать — пиши...

Видно, осмысливая не очень понятные для него советы, он помолчал, и я, подумав: как бы мальчик не увязался за мной на речку, куда я шел, как обычно, прогуляться после обеда, повернулся обратно и скрылся у себя во дворе.

Потом, уже после перестройки, после тех достопамятных лет, когда побывал в писателях, даже, кажется, слегка известных, пока не спихнули меня в маргиналы кухонные и офисные «гении», я «вновь посетил» родную деревню.

Как-то раз или, вернее, как всегда летом в хорошую погоду, в большом пруду выше деревни я пытался поймать на спиннинг рыбу, полдня махал удилищем — ни одной хватки. И, усталый, унылый, направлялся по шоссе к деревне. Вскоре меня догнала повозка, остановилась, и возница, назвав меня по имени, привгласил подвезти. То, что меня знали в деревне, звали по имени, для меня было привычно, но сам я многих, особенно молодых, не знал.

— Кем ты будешь? — спросил я, когда поехали.

— Дамир я. Не помнишь?

Таких молодых мужиков, возмужавших к девяностым годам детей войны с обветренными лицами, попахивающих табаком и водкой, бедно одетых, я вовсе не мог знать.

— Дамир. Что-то не припоминаю. Откуда едешь-то?

— Из лесу, вестимо...

Ответ меня насторожил — знает Некрасова. Значит, не такой уж простой мужичок, а из тех, кто понесет с базара Белинского и Гоголя.

— К сосёнкам своим ездил, — добавил он.

— К каким сосёнкам?

— Лесник я, — чуть заметно досадуя, ответил он. — На посадку ездил. Вон там, на Китец-аяке, растут мои сосёнки. Лет через шестьдесят такой бор там вымахает... поэма!

Я уже догадался, на чьей телеге еду. Это был тот самый странный мальчик, который однажды спросил у меня: «Что надо делать, чтобы стать поэтом?», а теперь встретился со мной во взрослой ипостаси. Тогда я посоветовал ему учиться, много учиться и читать. Видно, закончил лесной техникум и стал лесником.

Колхозники моей деревни, малограмотные или окончившие четыре или семь классов, старались, чтобы их дети не остались, как они сами, необразованными и сирими, а выучились и вышли в люди. Еще лучше, если бы убрались подальше от навоза. Но ведь редким удавалось пробиться в институты, тем более в университет. Неудачники поступали в разные техникумы и заочные институты. Некоторым с дипломом удавалось зацепиться за городской асфальт, кое-кто возвращался к земле и пополнял председателей-неудачников или, того хуже, алкоголиков. А лесники, вернувшись к родным лесам, лет десять поработав в лесхозе, тоже спивались.

В наших деревянных деревнях, обогреваемых по зимам березовыми дровами, часто рубаемыми воровски, лесник был уважаемым человеком. Его «уважали» за то, что он на незаконных дровосеков смотрел сквозь пальцы, потому что не только в своей деревне, но и в соседних деревнях все были свои. Как он мог друга детства или шурина оштрафовать? Как потом жить с ними? «Леса на наш век хватят. Все равно перестоит и рухнет в бурю». Уважали, приглашали и подносили. В моей деревне спились на моей памяти мой родственник Фарид, мой сосед Хайрук, а рьяного охранника, от которого никому не было спуску, Бадритдина, кто-то убил в лесу...

— Стихи пишешь? — спросил я.

— Пишу. Уже два тома написал.

— Это как у Маяковского. «В деревнях — крестьяне... Каждый хитр. Землю попашут, попишут стихи...»

— Я бы так: «В деревнях сидят лесники, водочку попьют, попишут стихи», — произнёс он и хохотнул.

— Печатают?

— Нет. Отовсюду возвращают. Пишут: есенинщина, копание в своей большой душе. Безыдейные стихи. Башкирские журналы меня не печатают, потому что я ведь пишу по-русски. Отец хотел, чтобы я, одаренный мальчик, получил хорошее образование и отдал меня в русскую школу в Уральск. Я так начитался русских стихов, и свои складываются в голове только по-русски, так что я при всём желании не смогу писать по-башкирски.

— Пиши по-русски, только пиши. И вот тебе мой совет. В том, что подражаешь Есенину, ничего плохого нет. Все подражают кому-нибудь. Но держись подальше от водки. Сколько талантов она загубила. Гениальный Есенин — и тот...

Он помолчал и ответил грустно:

— Я понимаю... Но жить в наше время в деревне и не пить... Ведь вокруг пустыня. Это как у Пушкина: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влакился...» Поговорить не с кем. Чтение книг и писание стихов считают придурию. Жена тебя не понимает... Если бы не лес и мои сосенки... Когда не поступил в престижный институт, считал себя неудачником. Теперь не жалею...

— Баллов, что ли, не набрал?

— Набрал. Но решали не баллы. Сам знаешь... Из района нас было трое. Один — сын начальника районного ОРСа, другой — председателя колхоза, третий — пасечника, ты его знаешь. Тупаки. Получили дипломы, а где они сейчас? Один подался на Север, другой бездельничает и спивается, третий погиб в Афгане. Земля ему пухом. Не жалею.

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увядания золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Прочитал он и хохотнул. И повернулся к воротам добротного дома. Я поблагодарил и ушел восвояси. В том году я его больше не встретил.

На следующий год, как обычно, приехав в деревню в мае, я от соседки, которой все обо всех было известно, — жителей неурядицах и соре, который не принято выносить из избы, узнал, что от лесника Дамира ушла жена, что Дамира она редко видит трезвым.

И вот однажды я встретил его на улице. На том же месте, где встретил много лет назад странного мальчика, — напротив дома, вернее, у ворот спившегося вконец Камала, кому дружки-алкаши помогали пропивать пенсию. Дамир был выпивши, как будто обрадовался мне и тут же начал читать стихи.

Устал я жить в родном kraю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою
И уйду бродягой и вором.
Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.
Весной и солнцем на лугу
Обвита жёлтая дорога,
И та, чьё имя берегу,
Меня прогонит от порога.
И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зелёный вечер под окном
На рукаве своём повешусь.
Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.

И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.
А месяц будет плыть и плыть,
Роняя вёсла по озёрам...
И Русь всё так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.

У него по испитому лицу текли слезы.

Я сказал:

— Есенин.

— Разве? А я думал — мои. Так похожи на мои...

И вдруг, потеряв интерес ко мне, побрёл прочь.

В том году после мимолётной майской грозы за всё лето не выпало ни капли дождя. Казахский суховей высушил небо над Южным Уралом. Не успевшие зеленеть склоны холмов выгорели, на лугах не поднялась кормовая трава, зерновые зачахли на корню. Уже в июле листья на берёзах стали желтеть и опадать. Обмелела и стала зарастать какой-то ядовитой травой река, небо целыми днями было голое и пустое, его прозрачная голубизна наводила тоску.

Беда одна не ходит: задымила высушенная зноем травяная ветошь, сухменный ветер раздувал пламя, и огонь перекинулся на деревья. Горели горные леса севернее нашей деревни, горели заповедные сосновые боры. Синеватый дым, пахнущий гарью, застипал горы, долины. Задымила посадка на склоне Китечаяка, горели сосёнки лесника Дамира.

Пожилые люди говорили: «Ахырзаман, конец света». Хотя люди, многажды пережившие природный ахырзаман — засуху, недород, потопы, ураганы, привыкшие терпеть и выживать, не очень тревожились и повторяли: «Лишь бы не было войны», ибо настоящий ахырзаман — это война.

Возле сельсовета я встретил Дамира. Он был трезв, но вид имел побитый и загнанный. Лицо было в саже, брови опалены. На мой вопрос, что с ним, ответил, что ездил на посадку и берёзовой веткой пытался сбить пламя.

— Разве в деревне нет пожарных?

— Нет. То есть, были когда-то, но эти демократы... Как пожар — звоним в район или в Уральск. Пока приедут — на месте дома только обугленные брёвна и пепел. Если даже приедут, как они поднимутся по крутым склонам? Когда я сажал, тракторы с трудом взбирались, чтобы пропахать борозду.

— А если организовать народ?

— Сказки! — с обидой ответил он. — Что этот твой народ, в ведрах будет таскать воду за три километра из пруда? Да не пойдёт народ, — помолчал и добавил: — Пропали мои сосёнки!

Ахырзаман продолжался. С юга, поднимая земной прах, дул горячий ветер. Загорелась и вспыхнула чья-то изба на углу проулка. Ветер погнал ревущее пламя к соседнему дому, этот дом, вспыхнув, как стог соломы, поджёг следующий и дальше стали взрываться газовые баллоны. Когда огонь лизнул стены сарая старухи Талибы, она лишилась языка. Кто успел, вынес почти из огня кое-какой скарб, телевизор, одежду, молодые, сильные мужики выволокли даже холодильники. Люди, прибежавшие из соседних улиц, стояли и смотрели на пожар. То ли это для некоторых было зрелищем, то ли шоком. Между людьми, у которых

сгорали дома и трудом нажитое добро, и теми, до которых огонь не дошёл, возникло какое-то странное, непонятное даже самим чувство: не сочувствие, не злорадство, а, быть может, отчужденность. Но нашелся среди людей добрый молодец, сел на бульдозер и пошел на огонь, въехал в гудящее пламя рядом с домом старухи Талибы и пропахал ножом загоревшийся сарай, другие охваченные огнем строения и остановил пожар. Но девять домов в центре деревни ахырзаман слизнул огненным языком.

Многие знали, откуда пошел огонь, знали, что хозяин углового дома гнал в предбаннике самогон, знали и помалкивали, чтобы не пострадала многодетная семья, и многие охотно поверили слуху, будто от осколка стекла загорелся мусор...

Назавтра возле правления я опять встретил лесника. Он был пьян и жалок. Вместо приветствия он произнес:

— Погибли мои сосёнки! Какой лес мог бы вырасти!

Раздраженный его видом, я ляпнул ему утешительную пошлость: дескать, чего убиваешься, вокруг сколько леса, лучше его береги.

— Его вырубят. Смотри, сколько вырубок на склонах хребта? Оглядывают гору, скоро останутся голые камни. Для посадки нет денег. Это поджог. Кому-то мешали мои сосёнки. Кто-то подстроил...

— Ну кому надо было поджигать посадку? Может, кто-то проходил и окурок бросил в сухую траву.

— Ты еще скажи: трава загорелась от осколка стекла или от капли росы. Бред! Ты же долго жил, лучше меня знаешь. Только человек вредит лесу, воде, воздуху. Курил какой-то дебил и бросил в траву непотушенный окурок, бросил не нарочно, не хотел поджога, но он все равно негодяй, преступник. Я вот за Красной Скалой — там тоже посадка, до войны школьники сажали — прибил доску: «В лесу курить запрещено!» Смеялись. Ты же знаешь, сколько людей, ненавидящих книги, поэзию, талантливых людей... И природу!

— Больше равнодушных. Или завидующих талантливому и образованному человеку.

— Нет, ненавидящих. И не думающих. Не видящих красоту мира. Смысл мира. Я тебе не надоел своей пьяной рожей? Если не надоел, я выскажу одну свою мысль. Вот в космосе звезда, мы называем ее солнцем. Горит, освещает. И вокруг нее крутится небольшой каменный шарик, на три четверти залитый соленой водой. И там, где нет соленой воды, на этих камнях растут деревья. Деревья! Дуб, сосна, ель, пихта, береза, липа и еще какие-то. Почему только не одна сосна или береза? А-а-а! Природа знала, что людям нужна не только древесина, а нужна и красота. Как красивы деревья. Поэзия!

— Бог знал, — поправил я.

— Для меня природа — тоже Бог. Слушай, деревья — это подарок разумному человеку. Разумному. Они живые. Есть ли у них разум, я не знаю. Но они святые. Они делают добро, дают кислород, украшают землю. А мы их убиваем, жжем. Вот еще у меня такая мысль. Умрет человек — зловонье от него и торопятся скорее спрятать труп под землю, умрет дерево — как оно пахнет, как приятно пахнут ель, сосна, пихта, а клён, как пахнут стружки, доски... Где-то я читал, святые люди после смерти тоже не смердят... Ладно... Хочешь послушать стихи? Не Есенина, а мои?

И, не получив ответа, хочу я или нет, он начал читать:

Когда умру, не врите,
Что я хороший был шагир.
Лучше тихо похороните
У подножия горы Мышагыр.
И постояв в раздумье,
И печалясь слегка,
Идите слушать в лесном шуме
Печаль поэта-лесника.

Прочитав, он вопрошающе посмотрел на меня.

— Плохо! — сказал я.

— Я сам знаю, что плохо. Я же не Есенин.

— Плохо то, что в стихах твоих много о смерти...

— А что делать, если вокруг такая жизнь...

— Пить не надо. Это гибельный путь... Будешь пить, ничего не добьешься.

Живи трезво... — изрек я то, что уже как-то говорил ему.

Лесник на минуту уставился в меня глазами того странного мальчика, словно хотел разглядеть меня, пытаясь понять во мне что-то ему непонятное, но, видно, не поняв, махнул рукой, отвернулся и пошел прочь.

Больше в том году я его не встретил.

В следующем году, приехав в деревню весной, я слышал, что он зимой рухнул в запой и, не вынеся похмельную тоску, повесился.

Обгоревшие сосёнки поэта-лесника, переболев какое-то время, в дождливое лето снова начали расти.

Пахарь

Свою девятнадцатую весну я встретил далеко от родных гор, лесов и полей — на чужбинной германской земле, называемой Померанией. Если за Одером трупы убитых в зимних боях солдат, немецких и наших, вытаяв из-под снега, валились на пашнях там и сям, то в Померании согретые весенним солнцем пашни как будто ждали пахаря. Хотя и здесь война всё ещё шла. Немцы уносили ноги на запад, но изредка огрызались. То били по наступающей колонне из ночной тьмы, то, засев на деревенских и хуторских чердаках, открывали огонь, часто это были не солдаты, а юнцы, случалось, и девицы. Встретив огонь, мы вмиг слетали с сёдел, отдав коней коноводам, пластались по земле. Как-то раз пулемётная очередь взрыхлила землю прямо перед моей рожей (если бы пулемётчик взял чуть выше, я не писал бы об этом), и влажная померанская земля, забрызгавшая моё лицо, пахла так же, как на нашем огороде и на пашнях за деревней.

За километр до этого хуторка мы спешились, передали коней коноводам, пошли пешком. Небогатый дом с крыльцом, хлев и сарай с высоким чердаком и колодец с журавлём были приметой скромной и аккуратной жизни немецкого крестьянина. На крыльце выглянула женщина и скрылась. Немки нас, чужезычный народ с монгольскими скулами, дико боялись. Как и во всех войнах, грехи своих мужчин искупали они...

Осторожно, держа карабины наготове, мы приблизились к дому. Кроме квоты курицы и верещания переживших зиму воробьёв, не было никаких голосов

и звуков. Там, к востоку от Одера, где не было населения, мы просто заходили в дома — двери были не заперты, наверное, для того, чтобы чужие солдаты не ломали их. Правда, в этих пустующих домах ничего не было. А теперь по фронту был приказ командующего: цивильное население не обижать, дома не грабить, а за насилие над немецкими женщинами — трибунал...

— Гайнуллин, чердак проверь, — приказал мне помкомвзвода.

Отомкнув штык кавалерийского карабина, по лестнице, прислоненной к стене сарая, я поднялся на чердак. Там было сено, и оно пахло так же, как пахнет сухое сено на нашем сеновале над хлевом. Я несколько раз пырнул штыком кучу и, не обнаружив ничего подозрительного, спустился вниз.

Пока коноводы подадут коней, взвод отдохнул. Отдыхали колени от стремян и задницы от кожи седла. Курили, переливали из пустого в порожнее, слушали сержанта Винокура, который считался у нас самым умным «копытником». Я не любил этого рыжего рослого парня. Вернее сказать, побаивался его. Он со своими тремя лычками на погонах числился моим взводным, хотя весь взвод, всего пятнадцать конников на пятнадцати «монголках», был всего лишь отделением. В серых навыкатах глазах сержанта я видел столько равнодушия ко мне, которое иногда сменялось презрением и насмешкой, что не понимал, за что. Может, такое отношение ко мне, как к нерусскому? Но он дружил с Мустафиным, взводным стукачом и подхалимом, рьяно угождающим командиру роты старшему лейтенанту Ковригину, который тоже не очень меня жаловал, к тому же был ко мне слишком требователен. Остальные и выпьют, и у пленного часы отснимут или просто ради забавы пристрелят его — не замечал. У меня в переметной сумке была фляга со спиртом, налитом на спиртовом заводе, узнал (конечно, Мустафин донёс), вылил и флягу выбросил. Я думал, что Винокур терпеть не может мою дохлую фигурку потому, что догадывается, что я о нём думаю. А думал я о нём так. Как этот грамотный городской парень, который до войны лошадей-то видел только в кино, попал в кавалерию, когда для него нормально было бы сидеть в штабе, служить в тяжёлой артиллерии или быть ординарцем у пехотного майора. Неприязнь ко мне он выражал так. Докладываю ему: «Товарищ сержант, на подкове моего коня шип сломался». Он мне: «Заверни другой». Я ему: «У меня нет». И он, резанув меня металлом выпуклых глаз: «Хороший кавалерист подковы и шипы должен возить в переметной сумке и сам подковывать своего коня».

Я козырнул помкомвзводу Морозову и доложил, что на сеновале ничего не обнаружил. Маштаков, подковырчик и ехид, произнёс:

— Ты, наверно, плохо искал. Там под сеном баба прячется, сходи ещё раз поищи.

— Зачем ему баба? Он же у нас ещё целка, не умеет с ней обращаться, — сказал Винокур.

Те, которые, видно, знали, как с ней обращаться, заржали.

Когда подхалимы Винокура пытались, просто от нечего делать, задеть меня подковыркой, насмешкой, я всегда смотрел на старшего лейтенанта Ковригина. На гражданке он был учителем в каком-то уральском селе. Учитель в моём подростковом понимании был человеком необыкновенным. Самым добрым, самым справедливым. Господи, я ведь всё ещё был учеником седьмого класса, который закончил как раз перед войной. А у Ковригина война, по моим ощущениям, вытравила всё учительское, разумное, доброе. Ребята насмешничали надо мной, а на лице лейтенанта — выражение отыскающего после боя старого солдата.

Мы сидели рядом с калиткой возле штакетника. Там стояла лавочка, на которой, видно, хозяева посиживали, отдыхая в часы досуга, точно как у нас возле палисадника с сиренью. Но эта лавочка была со стороны двора. На лавочке расположились старший лейтенант, сержант Винокур и дружные с ним, вроде Маштакова. Задворки мимо сарая и хлева были открыты и дворик без ограды переходил в поле, более обширное, чем просто наш огород. По этому полю далеко тянулась вспаханная черная полоса, с того конца в сторону двора медленно двигалась большая рабочая лошадь, а за ней виднелся человек — это хозяин поля шел за плугом. В эту пору у нас еще не пашут. Но в Германии тепло уже в марте; вспомнилось, как я, подросток, в начале войны пахал колхозное поле за речкой Талышман. По мокрой холодной борозде я шёл босиком и стегал лошадь кнутом, стегал и жалел. Вечером бабушке сказал, что жалел лошадь и норму не вспахал, и бригадир Муллахмат ругал меня, и спросил у бабушки, почему лошади, большие, сильные, умные, терпят тяжёлый труд, кнут, а не убегут в лес, в горы. Бабушка сказала, что я мелю несุразное, что лошади бог велел помогать человеку, что лошади жалеют человека, поэтому терпеливо работают на него.

Теперь я, всего четыре года спустя, тот же безусый подросток, далеко от реки Талышман, вооружённый «копытник», на марше встречаю свою девятнадцатую весну и в минуты короткого передыха, пока немец не стреляет, вижу, как человек пашет землю. Если уж пахарь идёт за плугом, значит, войне действительно конец.

Я не знал и даже не гадал, что чувствуют, о чём думают остальные. Их тоже, молодых, созревших для мужской жизни (кроме Морозова и старииков-коноводов), томила весна, и они, судя по их насмешливому веселью (хотя, когда не стреляют, на войне всегда весело), предвкушали скорый конец войны, который сулил им весёлую дорогу домой, встречу с родными и женщиной. А в моей душе не было всего этого. В деревне не было у меня ни избы отцовской — продали ещё до войны, чтобы купить мне, сироте-голодранцу, штанишки, ни отца, ни матери. А родне, разореннойвойной и голодной, я подавно не нужен. Вернуться в колхоз и после того, как я повидал немецкие города, входя в них с боями, снова подчиняться бригадиру Муллахмату или старому дураку Шарипову, который, наверное, всё еще ходит в председателях... А для девушки, которой из армии я писал письма со стихами, на которые она мне не ответила, я, конечно, по-прежнему черномазый голодранец. Лучше бы уж она, эта война, не кончалась, не затихала до края света, и мы, изредка воюя, всё ехали и ехали бы на своих монголках...

Лошадь и пахарь дошли до ближнего конца пашни, и лошадь, как обычно делают обученные к пахоте лошади, развернулась обратно и встала в борозду. В это время женщина вышла на крыльце, поглядела на пахаря и ушла в дом. И пахарь, рослый немец, в ничем не примечательной серой одежде и кепи с длинным козырьком, стал весь виден.

— Смотрите, у него нет левой руки! — произнёс Винокур, как бы радуясь этому открытию. — Воевал, мразь фашистская!

Я тоже разглядел немца: левый рукав его куртки был пуст и пристегнут к карману. «Ну и что?» — подумал я. И, вторая моей мысли, старший сержант Морозов произнёс:

— Ну и что, что воевал? Найди ты сейчас человека, который бы не воевал.

— Не одного нашего, наверно, прикончил, гад! — теперь уже, озлобясь, проговорил Винокур.

— Может, партизан наших вешал, хаты поджигал, — без злости и как бы даже задумчиво произнёс Маштаков.

Винокур оторвал задницу от лавочки, взял прислоненный к штакетнику карабин, клацнул затвором и двинулся к немцу. Мы с любопытством следили за его широкой спиной и рыжим затылком — что будет дальше?

Подойдя к пахарю, который начал новую борозду, Винокур гаркнул:

— Х-а-а-льт!

Остановив лошадь, немец обернулся. Лицо его было спокойное. Он легко улыбнулся, как от неожиданной шутки. Винокур показал рукой в сторонку. Немец отошел и повернулся к русскому шутнику. Винокур вскинул карабин и выстрелил. Рослый немец упал на спину, не подломившись.

Винокур вернулся к штакетнику, прислонил карабин, сел и нервно закурил. Остальные хмуро молчали. Я, как всегда в таких случаях, посмотрел на старшего лейтенанта и увидел лицо отдыхающего после боя солдата.

— Ну зачем ты это сделал!? — проговорил старший сержант Морозов.

— Я выполнил приказ, — ответил Винокур.

— Какой приказ?

— Вы что, газет не читаете? «Убей немца, сколько увидишь, столько и убей».

— Когда это было... Уже война кончается...

Тут я заметил, как жена немца, вышедшая на выстрел, замерла на крыльце. И почувствовал тосклившую жалость к убитому немцу, к его жене, которая осталась одинокой с недопаханным полем, и почувствовал такую ненависть к Винокуру, какую не испытывал даже к врагам-немцам, и пожелал ему смерти в следующем бою.

— Он не виноват... Его фашисты заставили воевать... Он солдат... Он не виноват! — выпалил я.

— Они все виноваты... Все до единого, — отозвался Винокур, осклабясь в улыбке.

Женщина спустилась с крыльца и как-то неуверенно направилась к убитому мужу. Это была простенькая на вид деревенская женщина, каких много в России, и в нашей деревне. Крестьянка. Она ждала своего пахаря к обеду.

Подойдя к мертвому мужу, она всматривалась в него, молча, недвижно и вдруг с непонятной для меня решимостью быстро пошла к воротам сарая и скрылась за ними.

И тут коноводы подали коней, и была команда «По коням!», и мы тронулись дальше. То ли к новым боям, то ли к концу войны.

Не успели отъехать от хутора, Маштаков вышел из строя, проскакал назад и, оставив коня у штакетника, вошел во двор, по лестнице проворно поднялся на чердак и тут же быстро слез, и когда он уже садился на коня, над сараем загорелся дым. Потом дым загустел, сделался черным и заклубил над хутором. Потом высунулись языки пламени. «Копытники» весело поглядывали назад. Черный клубящийся дым над хутором — это была всего лишь веселая картина войны, привычная, как и вытаявшие из-под снега трупы на пашнях и напуганные, измученные женщины поверженной страны.

А жена немца так и не появилась из сарая...



Уыш ыйрм енд

Хикәйә

1943 йылдың 9 финауарында Құнақбай ауылының ун һигез йәше тулған ун бер еgetenә армияға алыныұзары тұрағында қағыз tottorzolар. Фуат өсөн был fәзәти хәл тойолдо. «Нұрыш сықтан!» тигән яман хәбәр килгәндән һуң ауыл алтмышлаған ир-егетен яу қырына озатқайны инде. Қөн үтә, ай үтә, һурыш, әзәм йоткан аждаһалай, инде йәш-елкенсәкте лә һура. Ауыр ژа, борсоулы ла мәл. Әммә тәқдирзән қасып булмай.

Атағы Фуаттың һаңдатқа алыныуына башқалар һымақ һуши алынып көймәй: «Еget кеше ер кеңек, ул ауырлық құтәрә», — ти ҙә күя. Үзе дүрт йыл хәрби хеziмәттә, өс йыл герман һуғышында йөрөгән. Кавалерист, полк командирының ат товоусыны, ординарецы ла булған. Шулай ژа күз караһылай улының бөтөнләй башқа алышқа китәсәген уйлап, һиззәрмәй генә ҳафалана. Артық мөхтажлық құрмәй, ғазап сикмәй үсқән балаға әрмегә һәм артынса ук яуга китеү ау-йәтмәгә әләгеү һымақ тойолмаһа, ауыр хис-кисерештәргә дусар қылмаһа ярай ژа... Шуның тынысландыра: улы үзенә оқшаған, түзәр, бирешмәс.

Атай менән инәй шым ғына һәйләшеп, кәңәшләшеп, ғәзиз улдарының өс-башын хәстәрләй, юлына азық-түлек әзерләй. Бына хушлашыр мәл дә етте. Фуаттың аяғында — сарық, өстөндә — тұла сәкмән, құлында — кисә генә бәйләнеп бөткән йөн бейәләйзәр. Өр-яңы беще токқа сохари, қакланған қаҙ, әпәй, бешкән бәрәңгे, корот, йәнә ойоқ, бейәләй, таңтамал, һабын, қәләм, дәфтәр һалынып, ауызы қысып бәйләнгән. Тиңтерәзәренең өстөндә иһә әллә ни юқ, ризыктары ла тақыр, тоқсайза ғына. Бөтәне лә етеш йәшәмәй шул. Мәгәр күнелдәре киң. Карт-коро, қатын-қызы, бала-саға: «Юлығыз ақ, күнелегез пак булын!» — тип, хәйерле тараф теләп, озатып қалды.

Тәүзә Учалы ауылында йыйылдылар. «Юшалы» күмәк хужалығының дүрт бригадаһынан да Фуат менән утырып үсқән еgetтәр бар. Құнақбайзын 110 сақырым алықылғыкта яткан Мейәскә ике қөн буйы қылтыраған, һәр ат арбаһына дүрт-биш центнер ашлық тейәп алып барған, қайтышлай төрлө хужалық кәрәк-ярафы, кәрәсин алып қайткан, бөтә юл ғазабын бергә татыған малайзар. Бер-береһен күреп, қурештеләр, қыуаныштылар.

Яйық башынан алынғандарзың барыбын Тұңғатарза тупланылар. Бында дүрт-биш еgetкә бер егеүде ат һәм озатыусы беркетtelәр. Таныш ылау, инде әрмө юлынан Мейәс қалаһына барып еттеләр. Тимер юл станцияһынан йырак түгел ташландық баракта урынлаштырылар. Ни табыла, шуны түшәп, өшөп, кейенгән килем изәндә йоқладап, азна буйы яттылар, нишләргә белмәй зарығышып бөттөләр. Фуат ата-инәһе хәстәрләгән, нарық үйенөнән һуғылып, кейеziләп басылған түкыманан тегелгән тұла сәкмәндең үйлынын, қәзәрен бында нығырап тойзо.

Ниһайәт, саftарға төзеп, белешеп, ете һәм унан юғары синыф бөткән алтмышлаған еgetте һайлап, вагондарға ултырттылар. Бөтәненең дә телендә тынғы бирмәгән бер һорая:

— Беззе қайза алып баралар икән?..

— Тамукка түгел, куркмағыз, — тине әйзәүсе көлөп. — Ни бары офицерзар әзэрләүсе училищеға.

— Қайза үл училище?

— Бына, әй, һеңгә барыбын да белергә кәрәк. Барғас қүрерхегез...

Яйық йорт егеттәренә исеме ятырак тойолған Бызаулық тигән қаласытқа килеп төштөләр.

— Бызаулық... Қалай ирмәк исем! Бәлки, был якта Ңыйырлық та барзыр але.

— Нимәне ирмәк? — тине Тұңғатарҙан олорак йәштәге бер сая еget. — Хәйбулла яктарында Таңалық ылғаһы ла бар. Назанлығызы құрһәтмәгез, белмәгәнегезе һөйләп тормағыз!

Ятырға бойорзолар. Фуат бұсқарә биргән тогон баш астына һалып, шундук күzzәрен йомдо. «Подъем!» тип каты қыскырыуға тертләп уянды. Ах, шайтан!.. Төндә тогон бысак менән телгәндәр, бер нәмәне қалдырмай сәлдергәндәр. Был урындағыларзың ғына эшелер, мояйын, сөнки юлдан килгәндәр арып-талып, барыбы ла үлек һымак йокоға талғайны. Ярай але иртәнән үк ашханаға йөрөтә башланылар.

Хәрбизәр килемеселәрзе төркөмләп әңгемәләштергә сакырта башланы. Инеп сыйкандар төрлө һораузаң биреп, белем кимәлдәрен, русса белеү-белмәүзәрен тикшереүзәрен әйтте. Әлбиттә, ауыл егеттәре йүнләп русса белмәй. Етмәһ, килгәндә поезд тәгәрмәстәре шақылдауы қолактарын томалаған. Фуаттың да башы һаман шаулап тора. Ңынау тоталамы, юқмы инде?.. Сикәләре ағарған оло ғына офицер бик һыныл қарап:

— Когда образована Рабоче-Крестьянская Красная Армия? — тине.

Еget яуап қайтарманы. Аптырап қарап тик торзо.

— Тогда скажи мне, кто есть Семен Михайлович Буденный?..

Хәрби кейемдәге олпат кешеләр алдында қаушап, Фуат алыйп қалды, бөтөнләй хәтерен юйзы. Аңра һарық шикелле, һораузының мәғәнәһен төшөнмәй «а-а-а?» тип торғас, уны сығарып ебәрзеләр. «Түң, назан» тигәндәрзөр инде. Қайһылай оят, фәрлек!.. Алтмыш егеттең егермеһен генә училищеға алдылар.

Язмыштан үзмыш юқ, тип қалғандарға үз-ара уфтанышырға ғына қалды. Үфылдашкандарзы шундук Бызаулыктан да ебәрмәнеләр, дүрт-биш сакырымдағы үйліға буйы әрәмәлегенән яғыулық өсөн қороган ағас, ботақ-сатак ташырға құштылар. Фуаттың аяғындағы сарығы тузды, сылғауы куренә, сәкмәне йыртыла башланы. Башқалар за өтәләгән этәске өкшап қалды. Бер-береһенә қарашып, ирештерешкән, мәрәкәләшкән булалар:

— Әфисәрзәрме тиһәм, меңкендәрсе...

— Без, йолкоштар, телһең байғоштар сыйбық-сабық ташырға ғына эшикнәbez шул.

Кемдер төшөнкөләккә бирелеп, өләсәһенән откан бәйетте әйтеп ебәрзе:

Тыуған ерзән айрылып,

Йөрөүзәр бәлә икән,

Ошо һуғыш арқаһында

Құрәсәктәр бар икән...

Бер буранлы төндә уятып, сафқа теzeп, атлатып та, йүгертең тә җур ғына ауылға алып барзылар. Йәке мәктәп йортонда урынлаштырылар. Һалдат кейеме кейзәрзеләр, отделение, взводтарға бүлделәр. «Йолкош»тар күз алдында танымағыл һомғол егеттәргә әүерледе лә қуйзы. Ңуғыш коралдары тottороп,

улар менән тайылай эш итергә өйрәтә башлағастары, кәйефтәре тағы ла күтәрелде. Погондар тайтанан булдырылып, хәрби дәрәжәләрзен ни икәнен дә төшөндерзөләр. Ашау ғына шәптән түгел. Юқ-юкта ауылға сыйкылар, катындар бәрәңге, икмәк, һөт, катык биргеләй.

* * *

1943 йылдың апрелендә йәш һалдаттарзы ниңәлер Алкиндағы хәрби лагерға ебәрзөләр. Бер ротаға иңәпләнгән, ер өстөнән азырак қына қалқып торған бәләкәй тәзрәле еуеш ер өйгә килтереп индерзөләр. Ярты ыыл ошонда тottолар. Йомро ағастан балта менән ярып, арлы-бирле королған өс катлы һикеләр — ял итеү, йоқлау урыны. Бында ла қытлық, егеттәрзен әсендә бүреләр олой. Бирелгән шәкәрзә йәшереп үййып, лагерҙан сыйканды бәрәңгә үйәмәнен алмаштырып алғылайзар. Барыбер күzzәр зә, қарындар ҙа ас. Қайнатылмаған мамыр майы эсеп, әстәре китеп үлгән һалдаттар тураһында һөйләйзәр. Әле қан катыш эссе киткәс, Вәкил исемле егетте қайтарып ебәргәйнеләр. Үләп қалыуын ишетеп: «Нимес менән алышка ла барып етә алманы, эй-й, меңкенкәй», — тип бик үәлләнеләр. Һәйбәт егет ине.

Астаклау ниндәй генә ҳәлгә төшөрмәй, яфага қалдырмай. Ашханаға Фуат менән бәрәңгә әрсергә барғанда Минлеғәле һиззәрмәй генә өс үәз грамм самаһы сей ит алған, сәйнәгән-сәйнәгән, ашай алмаған. Тащлаға булған да бит... Қеңәнендә бер-ике көн үәрәгәс, ит һаңый башлаған. Һиззәп қалғандар. Киске тикшерен мәлендә Минлеғәләне батальон алдына сыйғарып бастырылар. Муйынына фанер тақта, уның өстөн һөрһөгән итте әлгәндәр. Егет башын әйгән, бөршәйгән. «Бирән! Үфри! Һәптән бур!» — тип мәсхәрәләнеләр. Төнөн асылынырға маташканында иштәштәре сак коткарып алып қалды уны. Һалдаттар үззәренсә әсенде:

— Этте ашаткан һымак та ашатмайзар, ә мыңкылларға беләләр.

— Һуғыш тактикаһын да өйрәтмәйзәр, өйрәтерлек офицерзары ла юк...

Һуқыр рәүештә хәрби тәрбиә ысулы, аңызы рәүештә муштранау бик көслө ине был вакытта Алкин лагеринда.

Һәр йома һайын берәр-икешәр мәртәбә һигез-ун сақырымдағы урманға үйзәйзәр. Бында казарма төзөү өсөн имән қыркып, өс-дүрт һалдат бер ағас күтәреп килтерә. Э иртәләрен физзарядка урынына биш сақырым араға, тимер юл разъезынан кирбес килтерергә йүгерәләр. Йәнәутын яралар, арманызы булып арыйзар.

Бер көн рота гарнизон буйынса дежурға китте, Фуаттарзың отделениеһы қазармала қалды. Ефрейтор Киселев подъемдан бер сәғәт алда Фуатты бик каты төрткөсләп, бәргесләп, торғозмаксы итте. Тартқылашканда, үзе лә теләмәстән, ефрейторға аяғы менән эләктерзә. Ул өсөнсө кат һикенән изәнгә үйғылып төштө. Нәк шул вакытта часть дежуры лейтенант Аверьянов килем сыйғып, Фуатты һикенән һөйрәп төшөрзә лә, боғазынан маткып топот, үә стенага бәрә, үә һикегә қуша һуға башланы. Фуат уның күzzәре аларып, қып-қызыл булғанын күрзә.

— Атам, сволочь! — Лейтенант, котороп, кобураһын һәрмәне.

Фуат иһә, кото алынып, ишенән яззы.

— Тұкта! Тұкта! Тыныслан! — тип старшина ярғыған офицерзың қулынан пистолетын тайырып алды.

Фуатты ун көнгә гауптвахтаға ябып қүйзылар. Ул шул ҳәлгә қалғанына ифрат та ныға көйәләнде. Дусы Әдүләтбай: «Ябылып тороу — бер һынау ғына ул. Юқ-кка борсолма, Изел кисмәс — ир булмаң», — тип тайғызынын уртаклашты. Һигез үйләр хәрби хәзмәттә үөрөү дәүерендә был уның тәүге һәм һуңғы язаһы булды. Әдүләтбай

иһә башқаларға қарағанда ақыллырақ, иplerәк, йыйнағырақ, шуға ла Фуат уны туғанындај якын күрә.

Тора-бара яу қоралдары менән таныштырҙылар, пулеметсы, минометсы, әлемтәсе, артиллерист, сапер һөнәрҙәренә өйрәттеләр. Егеттәр һалдат тормошона тамам күнегеп, қоралдарын күззәрен йомоп һүтеп-йыйыу осталығына өлгәште. Ошолай йәй үтеп, октябрь азактарына кесе сержант звание биргәс, Өфө әргәнендәге Осоавиахим лагерында өс аžна самаһы күнекмәләр үттеләр.

* * *

— Һеззен тылдағы һалдат хәzmәте тамамланды. Етер икмәк серетеп ятыу!
Инде — фронтка, яуға! — тине командирҙар.

Бер эшелон тейәләп, илдән айырылып, киттеләр белмәгән-күрмәгән ерзәргә. Туктауһыҙ барзылар. Әзәм қырылған қара яу қырҙарына ла яқынлаштылар. Украина еренә, Днепр буйына килеп еттеләр.

Ноябрь айы азагы. Алыста тоноқ қына ғөрһөлдәгән тауыштар ишетелеп қала. Артабан — йәйәү. Ике тәүлеккә азығ бирзеләр. Дәүләтбай: «Нуғыш хәлен белеп булмай, дүс, кәрәге тейер», — тип баксала тороп қалған, туңырға өлгөрмәгән бәрәңгे-сөгөлдөрзәрзе асылмалы токтарға тұлтыртты. Дәртле генә атлайзар. Ныңк қына қар язы, епшеп ята. Ғөрһөлдәүзәр асығырақ ишетелә, төндәрен қызығылт якты булып тора. Арқаларҙағы ауыр токтар хәлде бөтөрә. Қырқ сақырымлап барғас, Фуат иптәшенә инәлә башланы:

— Атларлық та рәт қалманы, ташлайық бәрәңгеләрзе...

— Азықтың ауырлығы юк. — Тұз!

— Шулайзыр ә... Әммә, ысынлап та, хәлем қалманы.

Иң элек сөгөлдөрзәрен ырғытты. Бара-бара, аз-аӡлап, бәрәңгеләрен дә төшөрөп қалдыра торғас, тоғо яртылайға бушаны һәм еңеләйзә. Ике тәүлеккә бирелгән ризық та бөттө.

Арып-талып бер украин ауылына, артиллерија батареялары урынлашкан ергә етеп туктанылар. Дәүләтбай артиллериistarҙан ярты буханка икмәк һорап алды, уларға алмашка сөгөлдөрмө, бәрәңгеме бирзә. Тамак ялғап, асығыузырын бастылар. Саман йорт һымак балсықтан һалынған, һалам менән ябылған өйзәр ышығында ултырып, серем итеп тә алдылар. Кисен аш, йөзәр грамм аракы өләштеләр. Бығаса аракының нимә икәнен белмәгәс, ауызға ла алмағас, Фуат та, Дәүләтбай ә... Әсмәне. Нуңында татып та қараманылар. Шул сақер һелкенгәндәй, донъя күзғалғандай булды, тирә-йұнде қып-қызыл ут солғаны. Қемдер яр һалып қыстыры:

— Ахырызаман!.. Тамук!..

Ултырған урындарынан ергә йығылдылар, котелоктарҙан аштар түгелде. Мәхшәр басылғас, қурқып, алан-йолан қаранып қына баштарын қалқыттылар. Бөтәһе лә исән, бер кем дә йәһәннәмәг осмаған. Бары уларҙан йөз метр арттарақ «катюшалар» залл биргән икән. Фронтка барып кереүзәре, тәуге һынау үтеүзәре бына шулай мәрәкәле булды.

Иртәгәнә барыһын да сафтарға тәzzеләр. Офицерҙар батальондар туплай башланы. Дәүләтбайзы ла сығарып бастырҙылар. Фуат, иптәшемдән айырылам инде, тип, аптырап тора ине, тәүеккәл дусы ымлап, уны үз янына сақырызы. Йылт итеп йәнәшениә килеп торғас, афарин, айырылманық, йәнә бергәбез, тигәндәй, құлын қысты.

Нығытмалар һызытына килгәндә лә, төндә лә атыштар тынманы. Уларға қарап, дошман туктауһыҙ ата төсәлө тойолдо. Шуға ла баштарын қалқытып қарапта ла

кыйманылар. Артиллериянан утка totкандан һун, немецтар танктары һәм йәйәүле фәскәре менән һөжүм яһаны. Оборона totкан, быгаса құпте күргән яуғирзар һис кенә лә қашап қалманы: туптарзан снаряд осорзо, пулеметтарзан пулға сәсте. Уң фланг һөзәк ине. Ошо юсықта «ајдаһа» оборонаны өззө, әммә йән аямай қаршы тороузан алға бара алмай тұктап қалды. Бер кем дә артқа сиғенмәне.

Рота командиры Фуат менән Дәүләтбайзы 82 миллиметрлы миномет расчетына тәүзә мина ташыусы, шунан яһаусы итеп тәғәйенләне. Артабан баллистиканы өүрәтеп, тоқсаусы итеп қуйзылар. Егеттәр аңламағандарын нықышып һорашып, яңы һөнәрзәрен бөтә несқәлектәренә тиклем төшөнөргә, үззәрен мәргән итеп танытыраға тырышты.

Налдаттар тұқтауыз окоптар, траншеялар қазый. Мәмкин қәзәр ергә нығыратқ қазынып, снаряд, мина ярсықтарынан, пулляларзан ышықланалар. Тик Украина ерендә қышын окоп қазыу фәйэт ауыр. Кәйлә, көрәк ни тиклем осло, үткөр булмаһын, кара көрән үзле балсық шәкәр киңәгенән дә ژурыратқ сыймай, соқой торғас, үзендең йәнен сыға яза. Өстәүенә қар катыш ямғыр яуа. Һууланған шинелдәр туңа, кейгеңең була. Шуға ла ололар икешәр шинель йөрөтә.

Декабрь азағында һәм яңы йыл башында һөжүм итешеүзәр булманы. Шулай ژа алықта атыусы туптар көнөнә бер сәғәткә яқын атыша. Беҙзен «ильюша»лар килеп сыйып, дошман өстөнә бомбалар бырағыта. Төндәрен құкте ракеталар балқыта, яқтырткыс пуллялар үлем көсәп оса. Оборонала торғалар ژа, юқ-юқта яраланысылар, үлеүселәр булып тора. Ай ярым эсендә ротала һигез кеше яраланды, өс кеше үлде. Йәл, бик йәл, әлбиттә, тик торғанда яузаштарзың бакыйлыққа китеуе.

Яу серен яу белмәс, тигәндәй, вакыты һукмайынса, һөжүм көнөн, сәғәтен белмәнеләр. Нинайэт, әйттеләр. Башланды алыш, көс һынаш. Тәүге биш көнәдә ул һөзөмтәле генә барға ла, артабан акрынайзы. Иылытты. Юлдар — йәбешеп торған қуыы батқат, аяқтарзы һурып алып булмай. Һуғыш кәрәк-ярактартары, артиллерия артта қалды. Фуат менән Дәүләтбай, лысма тирғә төшөп, миналарзы йәкмәп ташый.

Таң алдынан батальон тимер юл станциянына яқынлашты. Йөзләгән немец автомашинаһы батқаклы юлдан үтә алмай, хәрәкәттөз қалған. «Әһә, баттығызы, дунғыззар! Беҙзен юлдар батқыл ул», — тип Дәүләтбай нытқ қоңорланды. Китте атыш. Фуат дүрт «пәрәй»зе дөмөктөрзө. Әммә... Әммә... «Атыш кәрәкме, алыш кәрәкме?» — тип үкергән дейеүзәй, бронепоезд пәйзә булып, ут бөрктө. Уның артынса, төтөн шаршауы қуып, немецтар атакаға ташланды. Роталар сиғенде. Был хәлдән ғәрләнеп, командирзар бойорок артынан бойорок яузырзы:

- Вперед! Только вперед!
- За Сталина!
- За Родину!..

Һынылыш яһап, айбарланған егеттәр Ингулец йылғаһы буйындағы район үзәгенә яқынлашты. Қотмәгендә немец танктары һырттан килеп сыйып, дәһшәтле, һәләкәтле ялқынға күмде. Шаулы көс, утлы өйөрмә донъяның астын өсқә эйләндерзө. Кемдер һүнғы һулышын ала, кемдер иңрәй... Юғалтыу хәттөз. Ярай әле қызыл йондо злө танктар қуренде...

Икенсе көндө түззүрлігін полк қайтанан бәрелешкә әзәр хәлгә килтерелде. Ул, теребене үйтқандай, ғәййәрләнеп, район үзәген штурм менән алды. Фуат ми-нометтан тұра тоқсап атып, тиңтәнән ашыу «фиғрит»те тамукка озатты.

«Катюша»лар дошман өстөндә қойон уйната, алыша-тартыша торғас, дошмандың қаршы тороусанлығы кәмене. Ул сиғенә, беззен ғәскәр әзәрләй. Ауыл

ситендэ автоматтарҙан атышкан мәлдә Фуаттың һул як ҡабырғаһын нимәлер өтөп алды. Қараһа, фуфайкаһының мамыры теткеләнгән, кан килә. Санитарҙар санбатка алыш китте. Шартлағыс пуля ҡабырғаһын һындырған. Айҙан ашыу дауаланып ятты. Арыу булғас, үзенең хәрби часын қыуып етте. Инде 1944 йылдың май айы тыуғайны.

* * *

Полк Днестр йылғаһының үн яғында Тирасполь қалаһынан төньяктағы һуғыш қырында урын биләне. Был урын — бик мөһим, Румынияға һикеру өсөн трамплин! Шуға ла немецтар бер-нисә дивизия, танктар менән ябырыла, самолеттәрә бозло ямғырзай бомба қоя. Тәүге көндө дүрт тапкыр ырғылыузыры таш қаяға бәрелеп қақсыған һымак булды. Иртәгәнән тағы ла ҙурырак өйөр ажарланып өсқә ташланды һәм алдағы линияны өзөп, ажғырып нығытмаларға яқынлашты. Беззен минометтарҙың тауышы һис тынманы, Фуат осорған миналар ҙа һығырышып осоп, шартлап, өйөрзө һирәкләндерзә. Эммә қалғандары нығқ қына яқынайғас, миномет менән эш итөу қыйынлашты. Фуат яраланған сержанттың танкка ата торған қоралын үйәт кенә алыш, тоқап, немецтың үзүөрөшлө орудиеһын сафтан сығарызы. Икенселәр пушкаларҙан снарядтар тондорзо. Танктары яна, яна... Яйы сығып, Фуат, Дәүләтбай, йәнә күрше расчettар тұра прицел менән мина яузырырға тотондо. Немецтар сызаманы, сиғенде. Быны күреп, полк атакаға күтәрелде. Минометсылар ҙа «урра!» қыскырып, алға ынтылды. Әүәлге позиция яуланды. Днестр плацдармында немецтарҙың үн бишләгән қоторонко һәжүмен кире қағызу құрһәткән қыйыулығы өсөн Фуат Әсәзуллин III дәрәжә Дан ордены менән наградланды.

Бер ниндәй алыш, атыш, йән қыйыш булмағандай, қояш йылмая, арқаларҙы йылыта. Бейектә, ыйында — тыныс, ер йөзөндә генә — һәләкәтле, үлемесле қыйралыш. Иң юғары ақыл көсөнә эйә үән әйеләре, әзәми зат, ниңа вакыты-вакыты менән әзәм ақтығына, асыуы үә үсе күп дейеү пәрейзәренә әйләнә, яһиллық қыла икән?.. 18 май көндө йәшел сирәмгә ятып, сәстәре үкмашқан, өстәре каткан ике дүс, Фуат менән Дәүләтбай, ошо хакта үйланды. Төнөн уларзы алмаштырырга яңы көс килде.

Тылға сығып, ләззәтләнеп мунса керзеләр, май япрағы менән танығтары қанғансы сабындылар, йәйге кейемдәр кейзеләр. Июнь уртаһына хәтлем ял иттеләр, туйғансы йоқланылар, өйзәренә озон-оzon хаттар яззылар. Был көндәр йәннәттәй тойолдо. Шундай рәхәт, шундай хөрриәт!.. Құкрәктәренә орден-миналар таққан һөлөктәй егеттәрен құрһә, ауылдарының иң һылыу қыззары ла һушын юйыр ине, мөғайын. Хыялда булға ла тыуған яктарына қайтып урагандай хис иттеләр үззәрен...

Тәндәренә қөзрәт қайтарған, һулыштарын иркенәйткән Молдавияның тылсымлы тәйэгеге менән 16 июндә хушлаштылар. Вагондарға тейәнеп, дүрт көн барып, Төньяқ Украинаның Сарны станцияһына килем төштөләр. Бында, урманлы-һазлықлы ерәрзә һуғыш алымдарын өйрәтеп, тактик күнегеүзәр үткәрзеләр.

Илбаçар һис кенә лә тынмай, һаман қаныға, һәжүм итә. Йырткыс өйөрө, қан көсәп, үз ил-йортон һақлаусыларзы корбан қылырға, ботарлап ташларға ырғыла. Үның бер төркөмөн андып, Фуат, Дәүләтбайзар Қөнбайыш Буг йүнәлешендә қурғауылда тора. Йәмле июль көндәрендә самолеттәрә шығынып тапкыр уларға қарай осоп килә лә қап-қара бомбалар ырғыта. Бомба тонок қына һығырып өстөңә килгәндә бик құркыныс. Береһе яғында ярылып, Фуатты ла балсық менән күмде. Шөкөр, исән әле, исән...

Эммә әжәл әргәлә генә әзләнеп йөрөй. Фуаттың алдында баһып торған һалдат, һуышынан язғандай, қапыл уға һөйәлде. Қараһа, осрақлы пуля нәк маңлайына тейгән. Бахыр шундуқ йән бирзә. Бындай хәлдәр һирәкләп булып тора, һөжүмгә бармаган сакта ла һалдаттар қазага тарый. Әллә һақбызылық, әллә құрәсәк... Арада төрлө әзәм бар: ақыллыбы, ақыллызы, һармағы; ауырлықка, яраланыуға сызағаны, сызамағаны... Берәүзен беләгенең йомшаш ерен сак қына ярысык һыйип утте. Шуға ла ах та ух килем, тылға тайзы. Шулук сәфәттә ярысык Фуаттың да үң ботоноң итен өзөп алды. Ләкин ул түззә, яузаштарынан айырылманы. Э яраһы егерме көн тирәнендә төзәлде. Ауылда йыраусылар: «Һәйләгән дә фәләм, ай, һөйләхен, тәкдир етмәй, әзәм үләмә?» — тип йырлай торғайны. Фуат быға ышанып та қуя, ниндәйзер илаһи көс уны қурсалай кеүек.

Дошман менән уларзы айырып торған аралағы ерзә үсеп ултырган бәрәңге қүренә. Иске ауызға яңы аш, тигәндәй, шул тиклем яңы бәрәңге ашағыбы килем. Взвод командирынан рөхсәт һорап, Фуат шул тирәгә шыуышты. Йөзтүбән килеш биҙрәнән ашыу бәрәңге йайзы ла тоқка, емерелеп бөткән траншеяға төштө. Алдында немец снарядының ялтырап торған ез гильзаны ята. Капсиюле юқ, өс тишигеге генә йылтырап тора. Ниндәй шайтан которткандыр, соқорзан сыға биреп, гильзаны құзенә қуїып, өс тишек аша немецтар яғын құзәтә башланы. Кулында құзәтәу торбаһы, йәнәхе. Шул сак тегеләр снаряд язуырыға тотонмаһыны? Тирә-йүндә өзлөкхөз шартлау, соқолмаған урын қалмағандыр... Құрәнәң, гильза кояшта ялтырап, немецтар уны құзәтәуесе тип үйлаған. Қырк килограммлық снаряд өстөнә, йәнәхе үәнәшенә төшөп шартлаға, иптәштәре һәйәк-һаяктарын да тапмаң, ошо соқор уның қәбере булыр ине. Комбоу тупракка құмелгән көйө байтак ятты Фуат. Бәрәңге қайғыбы китте. Ергә һырығып, һырышып, ақрын ғына, шым ғына үзенекеләргә табан шылышты. Траншеяға килем төшкәс, яузаштары уның тере қалыуына бер килке ышанмай торзó:

- Анауындан қойондан һүң һине вафаттыр тип, амин әйткәйнек инде.
- Тыуғанда үк бәхетең менән тыуғанһындыр үл?!
- Бер үзенә немецтың күпме снарядын әрәм иттерзен, афарин!..

* * *

Иртән иртүк, ике сәғәтлек артиллерия утынан һүң, дивизия ғәййәрләнеп, ташкын һымақ күтәрелеп, дошмандың оборона һызығын өззө. Бындай көслө ынтылышты қөтмәгән немецтар тәртипнәз рәүештә сиғенде. Ике көндән Қөнбайыш Буг йылғаһын кисеп сыйтылар. Фуатка ул Байрамғол әргәненән аккан Яйық җурлыктай ғына тойолдо. Қызыл ғәскәр, ужар сәсеп, көн һайын утыз-қырқ, бөтәне дүрт йөз сакырым юл үтеп, Вислаға яқынлашты. Инде еңеү қомары менән сәмләнгәндәрзә ошо зур йылғаңың аръяғына үткәрмәү өсөн немецтар теше-тырнағы менән каршылашты. Шуға қарамастан, автоматсылар Висла аша сығып, плацдарм яулауга һәм уны қиңәйтегүә, хатта бер ауылды алдыға өлгәштә. Төнөн башкалар, минометсылар за Висланың аргы ярына аяқ баһып, теге ауылға барып урынлашты.

Ауыл бик үзүр, озонса, халкы касып бөткән. Эргәлә генә түбәһе ялпак яланғас тау. Таң менән ошо тау башынан һис қөтмәгәндә әллә нисә батарея, эре калибрлы пулемет тура төзәп атырга тотондо. Шул үк мәлдә унлап танк өйзәрзә емереп-қырып, донъя тузырып, кисәнгे батырзарға ябырылды. Улар ауылды қалдырып, Висла яғына сиғенде. Ығы-зығы, шау-шыу... Йылғаға қарай бер генә юл, ә ике яғы ла — һөрөлгән ер. Ямғырзан һүң тубыктан батқақ, батқыл. Ғәскәр юлға килем тығылды. Пулеметтар пуля языра, танктар терәп тиерлек ата, «мессер» зар

түбәндән генә осоп, бомба җоя. Юл мәйет менән җапланды. Ыңғырашыу, ялбарыу, қыскырыу, акырыу, ирешеу, һүгенеу — бөтәһе бергә буталды. Ошолай булалыр, күрәһен, йәндәрзә язала торған йәһәннәм, тамук уты... Вислаға етергә бер-нисә йәз метр қалғас, штаб офицерҙары, полковниктар, майорзар сиғенеүселәрзә пистолеттарын тоҫкап, өсөкә атып, яман ақырып җарышланы:

— Ни шагу назад!

— Противостоять!..

Әмәл юк, боролдолар, каршы торзолар. Авиация, артиллерија ярзамға ашыкты, миналар һыңырып осто. Һәжүм баҫыла төштө. Дивизияның яртынынан күбәһе қырылған. Фуаттарзың ротаһындағы илле бер налдаттың үн бере генә исән талған. Йән тетрәткес юғалтыу!.. Был инде һизгерлекте юйған, тик еңеүгә генә ышанған штаб офицерҙарының, дивизия һәм полк разведкаларының үз бурыстарын анық үтәмәүенен үтә лә аяныслы күренеше ине. Ошо мәхшәр қойон эсендә Фуат менән Дәүләтбай қалай ғына исән қалғандыр, котолғоһоҙ үлемдән уларзы кем ярлығағандыр, ниндәй мөжизә аралағандыр?.. Ике дүс иңтәре китең, телһөз қалып, бер-берененә қарап торзо ла, құззәренән йәш атылып, қосаткашты.

Висла өңтөндә «коғон»дар коміозланып үлем көсәһә лә, һәнфарман алышка ашығысылар түңкәрелһәләр, батналар за, дивизия яңы қос менән тулыланы. Асыуҙары қабарған яугирҙарзың нәфрәттәре «аждаһа»ларға алмас қылыш булып ялтланы, ук булып қазалды, плацдарм фронт буйынса егерме, тәрәнлеккә үн-үн биш сакырымға кинәйзе, зурайзы. Әлбиттә, утта көйрәп, баштары өзөлә барған «дәйеу» тағы ла яһилланы. Китте кәһәр орош. Газраилдар қысырыкларға маташып, қөнөнә дүртәр-бишәр тапкыр өсөкә ташланы, мәгәр қанырап ауа, сиғенә. Фуат: «Дәүләтбай, мәрхүм яузаштарзың конон алайык, рухтарын ризалайык!» — тип мина осорзо ла осорзо, яуыздарзы байтак қына корбан қылды. Қуп юғалтыузаға дусар булып, ниһайәт, тыңдылар.

Қызыл фәскәр башкаса алға ынтылмаһын өсөн немецтар нығытмалар, ДОТ, ДЗОТ-тар корзо, танктар үтә алмастырған ярындар қаҙыны, һәжүм юлдарын сәнскеле тимер сыйык менән сырманды, миналар менән тултырзы, ашамлыктарзы һәм эсәр һыузағарзы ағыуланы... Үззәренсә Висланан Одерғаса араны үтә алмастырған рубежға әйләндерзә. Мәгәр дошмандың астыртынылығын, мәкерлеген төшөнөп, юғары командование нығытылған һызатты тәүзә авиация, артиллерија, «катюша»лар, танктар менән йырзытып, ғойәт дәһшәтле қос қулланы.

Фуат, Дәүләтбай инде мен қыйынлыкты бергә кисергән яузаштары менән Польшаның Варта йылғаһы буйына етеп туктаны. Егерме һигезенсе февраль қөнө уны аша сыйыу бурысы қуйылды. Был урында Вартаның ярзары бейек, текә, ағымы көслө. Өңтәүенә, туктауның киңәк-киңәк боз аға. Бер ярзан икенсе ярға аркан тартылды. Ялғашка ултырып, арканға тотоноп, Фуат та йәзә башланы. Йөге лә етерлек: карабин, патрондар, ун туғыз килограммлық көбәк, ике тәүлеклек азығ. Иңкәрмәстән боз қиңәгә килеп һуғылды ла ялғашты ағызып алыш китте. Бәхетенә қүрә, аркан құлтырған астына тұра килде. Уға ақынынып, мұйынынан һыуға сумып тороп қалды. Һыу үтә лә һыуык, үзәккә үтә. Бер құлын аркан буйлап шыузырып, алға ынтылды. Икенсе құлда көбәк, уны һис кенә лә төшөрөп ебәрергә ярамай. Хәле бөтә лә, үзен дарманландырызы: «Бирешмә, егет, бирешмә, һине атан-инән, йәшәлмәгән тормош көтә!» Азапланып, ғазапланып, көс-хәл менән ярға сыйкты. Взвод командиры Бедритский: «Молодец!» — тип фляғаһынан ауызына спирт койزو. Сәсәй-сәсәй эсте, әммә донъя шундук томаланып, уның құз алдынан юғалды. Дәүләтбай: «Он раньше никогда водку не пил, поэтому сразу опьянел», — тип, яузаштары менән уны поляктарзың мамырғанғына урап, йөн ястығын түшәп, повозкаға һалды. Бер нәмә белмәй құпме ятқандыр, дусының: «Фуат! Фуат!» — тигәнене үянып, бер нәмә булмағандай килеп торзо.

* * *

Одер йылғаһына яқынлашқан һайын немецтар йәнәсүйкка каршылық құрһәтте, үлем күбәйзе. Яу зәһәрен татыған ир-узамандар, үс-нәфрәттәре йәшендәй йәшнәп, қан даръяны түккән дошманға қан ялатты. Висла аръяғындағы қырылышты қүреп қәһәтләнгән танкистар тимер табанлы «айғыр» җарында дошман тулы ауылға йәнфарман барып кергән. Тегеләр ис-хуш алырға ла өлгөрмәгән. Ауылдың тиражы, тығызтар тулы қара қандары йәйелгән немец һалдаттарының мәйеттәре. Бигерәк тә оло урам уларзың қәүзәләре — ит йәймәләре менән түшәлгән. Куркының та, ифрат имәнес тә ине был қүренеш. Фуат менән Дәүләтбай уқышып, озак қына қүңелдәре болғанып йөрөнө. Вислала уларзың дивизияның кот оскос қырылыу коно қайтарылғайны.

Яйық йорт егеттәре лә, Одерзы кисеп, фельдмаршал Паулюстың имениеһына барып сыйкты. Қирбестән һалынған ат һарайының зур қапкаһын асып кереп, үңайлырақ үрын һайлап үрынлаштылар. Артиллерия һәм танктар йылғаның теге яғынан сығып өлгөрмәгәндән файдаланып, немец танктары текәп атырға тотондо. Қөн уртаһында берене бик яғын килеп, һарайзың стенаһын иләк кеүек тишкеләп бөттө. Бер снаряд-болванка эргәлә торған ике аттың арт һандарын, янбаштарын түззыра һуғып, икенсе стенаны тишел сығып осто. Ат қунып, егеп, һыбай йөрөп үскән егеттәр, арғымактары үззәренекеләй йәлләп, болокконо. Ниндәй һомғол малкайзар әрәм... Улар за — һуғыш корбаны!

Көс өстәлеп, биләгән майҙан җурайзы. Әйте үзәренсә, Берлинға тиклем һикһән сақырым ғына ара қалған. Қөнө-төнө атыш, һәжүм. Америка, Бәйәк Британия ғәскәрәре немецтарзың башкалағына яқынлаша, тиңәр. Оло һалдаттар, бигерәк тә офицерәр борсола:

— Bez nişlaiybez, egettär?.. Һуғыштық, һуғыштық та, инде Берлинды уларға бирәбезме!?

Ниһайәт, егерме дүрт сәғәт эсендә Берлинға инеү туралында Жуковтың кәтги бойороғо булды. Үн алтынсы апрель төнөндө, әйтерһен, бөтә ергә ут қапты. Бихисап пројектор, автомашина, танк фаралары немецтарзың құзен сағылдырызы. Һауала ут өйөрмәһе хасил итеп, У-2 самолеттәре фосфор коя. Туптар, «катюша»лар атыуы, танктар, самолеттәр геүләүе бергә қуышылып, колак тондорғос тауыш барлығка килде, донъя тамукқа әйләнгәндәй тойолдо. Туптардан, минометтардан атыу өсөн команда биреү юқ, булға ла тауыш ишетелмәй. Шуға ла Фуат менән Дәүләтбай за, башка минометсылар за билдәле вакыттан һуң, прицелды үзгәртә биреп һәм зарядты арттыра барып, ата. Шау-шызуза мина атылып сыйкымы-юқмы икәнен белеу өсөн терәк плитага басып торалар. Атылға, плитала тибеү, һелкенеу һизелә. Фуат ярты сәғәт эсендә немец өстөнә илле мина осорзо.

Ут яуға ла, һунғы қөндәре еткәнен тойға ла, дошман йәнтәслим қаршы тора. Қөндөз ни бары биш-алты сақырым ғына һынылыш яһалды. Ергә қазынған танктарзы, ДОТ-тарзы юқ итеп, ай-һай, ауыр. Әммә қаһарманлық артынан қаһарманлық қылып, алға ынтылу дауам итте. Үн етенсе апрелдә танк корпусы фронтты өзөп, Зеевол қалқыулығына сыйкты. Қискә табан ул қыйыу йөрәкле яузаштар қарамағында ине.

Һуғыш азагы яқынлашқанғамы, рота командиры капитан Хлопочкин һис тә һақланмай башланы. Минән пуля ла, мина ла яза оса, тип уйлаймы икән?.. Атаһы Фуатка һуғышта һақланыу зарурлығы, мин-минләнмәү туралында кат-кат түкігайны. Тәкәбберзәр, именлеген уйламағандар тик торғанда ла бер һүз әйтә алмай йән биргеләй. Фуат ярты метр тәрәнлектәге окопта ултыра, ә капитан өс-дүрт метр ситетәрәк үскән ағас әргәһендә биноклдән күзәтә ине. Шул сак немец танкынын атылған снаряд нәк башына тейзе, баш һөйәге ярығы сәсрәп,

Фуаттың окобына килеп төштө. Йөрәге дерелдәп, ныңк аптырап, құззәре шарзай булып, еget инәһе кеүек көрһөнөп: «Эй Илаһым!» — тип қүйзы.

Хлопочкив урынына шул ук көндө рота командиры итеп өлкән лейтенантты тәғәйенләнеләр. Госпиталдән генә сыйккан, бик йәш, төсқә матур, тап-таза кейемдә. Капитандың мәғәнәһөз үлеменән ул да һабак алманы. Немец яғына аяғөстө қарап торғанында, зүр снаряд ярсығы уның да башын өззө. Бығаса каты яраланған һалдаттарзың ыңғырашыуы, үлә алмай ятып қыскырыузы, атып китеүзе үтeneуздәре инде кунегелгән fәзәти хәл кеүек ине. Мәгәр ницәлер ике офицерзың үтә лә аяныслы үлеме гелән Фуаттың құз алдына килде лә торзо. Шул сақ, құңелен шом биләп, был йән қыйғыс һуғыш котто алырлық яман дәһшәт, пәрей, өрәк, нәғәләт-ләғнәт, ун ике башлы дайеү һымақ күренде.

Йөрәк әрнеткес юғалтыузыар менән хәрәкәтләнеп, бер урындан икенсе урынға күсеп, ялан ергә килеп сыйктылар. Алда, һул яктарап урманлық күренә. Қөндөзгө ун икеләр тиရһенәндә йөзләгән немец һалдаты окоптарынан сыйып, урманға қарай шыла башланы. Фуат йәһәт кенә алыслыкты тоғымаллап, бер ниндәй команда көтмәйенсә, тегеләрзе ярсықлы миналар менән койондорорға кереште. Йәнәштәге расчеттар ژа ут асты. Өрәк заттары урманға инеп йәшеренергә өлгөрмәне, егермеләгәне, қулдарын құтәреп, әсир төштө. Саялығы, тәүәккәллеге, мәргәнлеге өсөн Фуаттың II дәрәжә Дан орденына лайық икәнен әйттөләр.

Дүзаштары менән бергә, йән аямай алыша-алыша, Берлин урамдарына ла барып керзеләр. Танктар алдан тегеләй ژәбылай туктауын атып бара. Немецтар тәэрләрзән дә, өй баштарынан да пуля языра. Танктарға қаршы фаустпатрон қулланып, кумулятив граната елгәрәләр. Үларҙан қотолоу өсөн имен урында туктап, тимер рәштәкәләр йәбештереп, дошманды өңендә дөмбәзләнеләр. Урамдар кирбес, бетон ватыктары, мәйеттәр менән тулды. Һәр йорт тиерлек яулап алынды. Қарт-коро, бала-саға подвалдарға йәшеренгән, йәш катын-қыз американцар яғына қаскан. Беренсе майзан икенсе майға қараган төндө атыштар қәмегәндән кәмене һәм иртәнгә үндарза бөтөнләй тынды.

— Берлин бирелде, немец баш һалды! Урра! Урра! — тигән шатлықлы ауаздар яңғыраны.

Кыуаныстан қосақлаштылар, котлаштылар, хатта ки илаштылар... Оло һалдаттар, офицерзар спирт өсеп исерзе. Әсир төшкән Берлин гарнизоны автоматсылар қамауында кискә қәзәр урамдар буйлап ағылды. Иртәгәнә Фуат менән Дәүләтбай Рейхстагты қарапа барзы. Башында қызыл байрак елберзәүе қүңелдәрендә әйтеп бирә алмастық горурлық уятты. Йырақ та түгел зүр ресторан булған. Үтә затлы йыһаздар қыйралған, изән тулы қөзгө, люстра ватыктары... Рейхстаг тирәләй йөрөнөләр. Бер урында немецтарзың яу-һуғыш қоралдары тау кеүек өйөлөп ята.

— Үларзы қабаттан ил баңыу, талау, кеше үлтереү өсөн қулланмаһындар инде, Хозайым үзе һақлаһын инде, — тине Дәүләтбай етдиленеп.

— Эйе, дүсқайым, мәрхәмәттөз ژә, аяуын ژа, фажиғәле лә шул һуғыш, кан койош! Құпме әзәм түзмәслемек ғазап сиктек, михнәт йотток, йән тетрәткес яфа, көсөргәнеш кисерзек.

— Үлем сиғендә, үлемдән бер азымда торзок, түззек, сыйанык...

— Шулай... Без, ике ябай ауыл егете, ватандаштарыбыз менән илбағарзарзы илебеззән қызуык, Берлин тиклем Берлинды алдык, қүкәрәтәребезгә орден-мизалдар тақтығк!..

Ике дүс, әл дә бергә булдык, айырылышманык тип, бер үк мәлдә уйлап, колас йәйеп қосақлашты. Үн ете ай һуғыш өйөрмәнәдә йөрөп, иңән қалыузыарына, Еңеү көнөн қуреу бәхетенә ирешеүзәренә сикһең шат ине улар...